



Большов (*входит и садится на кресло; несколько времени смотрит по углам и зевает*). Вот она, жизнь-то; истинно сказано: суета сует и всяческая суета. Черт знает, и сам не разберешь, чего хочется. Вот бы и закусил что-нибудь, да обед испортишь; а и так-то сидеть одурь возьмет. Али чайком бы, что ль, побаловать. (*Молчание.*) Вот так-то и всё: жил, жил человек, да вдруг и помер — так все прахом и пойдет.

*А. Н. Островский.*

*Свои люди — сочтемся. 1849 г.*

Ох и полюбил ее Филипп Парфенович, ох полюбил...

Крепко-накрепко полюбил, как последний раз любят. Последней любовью полюбил, какая приходит под конец, когда не ждешь уж ничего от скуки-жизни. Полюбил страшно, полюбил отчаянно. Любовью преступной, от которой одна погибель. Не любовь это, а беда, конечно, как не понять. Наваждение какое-то, не иначе. Да буд-то оглох и ослеп Филипп Парфенович. Говорили ему, говорили, только никаких уговоров слушать не желал, в своей воле привык быть. Кто ему указ, кто поперек слово скажет? Такой характер, что не посмотрит, кто перед ним — друг, брат, сват, ударит так, что по плечи в землю вгонит. Потом, конечно, плакать будет, прощения просить, а норов бешеный, не укротишь. Дай повод — разорвет. А уж когда дело касается любви его заветной, тут

и пискнуть не смей. Чего доброго, совсем убьет. Один сунулся увещевать, такой ответ получил, что другому неповадно стало. Что тут поделаться?!

Напасть явилась, откуда не ждали. В конце июня приятели старинные зазвали Филиппа Парфеновича в «Ярь» отобедать в дружной компании. Знать бы, чем веселье обернется, может, лучше бы ногу себе сломал и дома остался. Так нет же, приехал. Застолье, как водится, было обильным, тосты поднимались, вино рекой лилось, дело привычное. Настроение у Филиппа Парфеновича стало отменным. Да и с чего ему быть плохим? Дела у купца Немировского шли в гору. К ломбарду, доставшемуся от отца, Филипп Парфенович трудами своими добавил страховую контору, ювелирную лавку открыл. Дом в Замоскворечье поставил, выезд-тройку купил, жена тихая и покорная, трех наследников родила, как полагается. Мальчики умными росли, старшего Петра уже к делу приучал. Живи, душа, радуйся на многие годы...

Подняли тост за процветание купеческого сословия. Филипп Парфенович бокал выпил, усы отер, тут скрипки заиграли. Он на сцену оглянулся и окаменел, как молнией сраженный. Поразила его в самую душу, сердце насквозь пробила цыганка молодая, что волнами юбку пускала, плечами поводила и черными бездонными глазами жгла. Филипп Парфенович забыл про все, глазами пожирал ее. Цыганка в пляс пошла, жаром пышет, мониста звенят, заливаются, подола разноцветные крыльями летают.

Кончился танец, овации разразились, иные господа со стульев вскочили, в ладоши бьют. А Филипп Парфенович шевельнуться не может. Показалось ему, что звезда огромная и яркая вспыхнула и поглотила его. Утонул он в этом сиянии.

Приятели заметили, что с Филиппом Парфеновичем неладное творится, стали толкать, подшучивать. Только он на шутки не отвечает. Примечает, сколько жадных глаз пожирают его цыганку. А она и рада, всем улыбается. Правда, почудилось ему в один миг, что заметила его цыганка и задержала на нем глаза чернющие. Может, было, а может, привиделось. Только с этой минуты Филипп Парфенович потерял интерес к приятелям и застолу. Одну цыганку слушал. Как заиграла скрипка мелодию печали заветной, махнула она юбками, гордо подняв подбородок, тут и пропал Филипп Парфенович навсегда.

Звали ее Аурик.

Филипп Парфенович каждый день принялся ездить в «Ярь». Официанты его усаживали за стол поближе к сцене. Аурик, когда в зал выходила, мимо него идет, как нарочно рукавом коснется. Филипп Парфенович горел огнем неугасимым, терзался, но в руках себя держал. Так с неделю продолжалось. А потом решился. Позвал официанта, дал сторублевку, и уж тот готов был душу продать. Филипп Парфенович потребовал, чтобы позвали Аурик в отдельный кабинет, какие при ресторане имелись. Официант обещался исполнить. Филипп Парфенович в кабинет зашел, где стол отдельный стоял,

накрытый хрусталем и серебром. Сел, стал ждать. Долго ждал. Даже злиться начал. Тут является официант и, глаза потупя, сообщает, что цыганка такая упрямая, никак с ней не сладить: не желает идти в кабинет, а пусть, говорит, барин к ней в сад выйдет. Филипп Парфенович покорно пошел, куда было приказано.

В темноте глаза ее, казалось, горели огнем нездешним. У Филиппа Парфеновича, мужчины крупного, телом крепкого, ноги чуть не подкосились. А она руки в боки и улыбается улыбкой сладостной.

«Чего изволите, барин хороший?» — говорит. Сама искрами сыплет и будто бы подсмеивается над купцом.

У Филиппа Парфеновича горло перехватило, такая красота невозможная, невиданная, что хоть упади перед ней на колени и моли о пощаде. Совсем разум отказал. А цыганке того и надо: учуяла, в каком состоянии почтенный господин пребывает — управляй им, как лошадью, поводья в руках, только погоняй. Такая умная, хоть годков-то не более двадцати.

«Ой, барин, не смотри так, испугаюсь, убегу», — говорит и улыбкою самое сердце Филиппа Парфеновича режет.

Красивым речам он не был обучен, некогда купцам обходительность в себе воспитывать.

«Чего ты хочешь?» — говорит напрямик.

«А что у тебя есть, барин хороший?» — отвечает.

«Да что пожелаешь, у меня ни в чем отказа не будет!»

Она пальчик к губке приложила, зубками кончик прикусила, будто задумалась. Филипп Парфенович этот пальчик готов был целиком скушать. Вместе с ней.

«Разве монисто из золотых монет...»

«Завтра получишь!» — говорит Филипп Парфенович, руки раскинул и к ней двинулся, чтобы задушить в объятиях. Да только Аурик отскочила, стала колючей, как нож цыганский.

«Эй, барин хороший, остынь, а то закричу. Не девка гулящая, чтобы за золото отдаваться!»

Такого поворота Филипп Парфенович не ждал. Но и раззадорился пуще прежнего.

«Чего же ты хочешь, кралечка?»

«Не покупай, а завоюй любовь мою! — говорит. — Чтоб полюбила тебя всем сердцем. Иначе подходить не смей».

«Это как же, завоевать?» — спрашивает купец.

«А я почему знаю? Придумай!» — сказала и убежала в темноту.

Филипп Парфенович в раздумьях недолго мучился. Что думать, когда средства есть.

Полгода добивался купец Аурик. И подарки дарил, и наряды, и по Москве на тройке катал, и в Нижний свозил, и в театр, и за городом пикник с музыкой устраивал. Денег не жалел. Ухаживания Аурик принимала благосклонно, только не дала себя и в щечку поцеловать, такая хитрая. Филипп Парфенович от желания сам не свой стал.

И тут под конец декабря, еще до Рождества, когда ему совсем невтерпеж стало, пошел он на штурм. Объявил Аурик, что готов для нее такой подарок, какой ни одна цыганка не получала. Для этого случая заказан лучший номер в гостинице «Славянский базар». Если опять откажется, то проклянет ее и со свету сживет, а не только из Москвы выгонит со всем табором: в полиции у него друзей много. Аурик смекнула, что тянуть нельзя, ниточка порвется, да и больно захотелось ей подарок невиданный получить. Она и согласилась.

Под вечер Филипп Парфенович привез Аурик в «Славянский базар». Номер огромный, с гостиной, спальней и кабинетом. Весь цветами украшен, на столе — шампанское и угощение. Половые откланялись, Филипп Парфенович вынимает большую коробочку, обшитую бархатом, подает.

«Это мне, что ли?» — цыганка спрашивает.

«Тебе, открывай...»

Аурик крышечку открыла и зажмурилась. Колье брильянтовое с крупными камнями и рубином в виде капли кровавой: красота невероятная, невозможная, не графиням, царицам такое носить.

«Хорош ли подарок?» — спрашивает Филипп Парфенович.

«Так хорош, что и сказать нельзя», — отвечает она, а сама пальчиком камни гладит.

«Примерь, чего ждешь?..»

Аурик к нему спинкой поворачивает.

«Помоги расстегнуть», — говорит.

С пуговками Филипп Парфенович возиться не стал, а рванул блузу на части. Аурик и не вздрогнула. Приложила колье на шею, говорит:

«Замочек застегни».

Пальцы у Филиппа Парфеновича не слушались; прикоснувшись к ее шелковой коже, он чуть не укусил нежное плечико, но сдержался, повозился, кое-как справился...

Аурик к нему спиной стоит, голыми плечами поводит. Филипп Парфенович уже сам не свой.

«Хочешь взглянуть на подарок?» – спрашивает она.

Филипп Парфенович едва прохрипел в ответ.

Аурик и повернулась. Без стыда показывая себя в блеске бриллиантов.

«Хорошо ли?»

Исторг он рык звериный...

От сонного забытья Филипп Парфенович очнулся на подушке. На часах половина десятого. Аурик спала рядом сном тихим, мирным. Колье не сняла. Во сне свежа и нежна, как купюра новенькая. Филипп Парфенович ощутил голод лютей. Тихо поднявшись, чтобы не разбудить, вышел в гостиную, где на ковре одежда была разбросана. Быстро оделся, облачился в сюртук и, отодвинув штору, спустился через отдельный вход, который специально был подведен к этому номеру, в знаменитый на всю Москву ресторан гостиницы.

Хотел он чуток подкрепить силы, спросил у официанта подбежавшего столик подальше от оркестра. Тихое



место имелось, официант повел, но по дороге Филиппа Парфеновича заприметили приятели, что немудрено: в Москве все друг друга знают. Приятели посадили его за стол. Филипп Парфенович выпил рюмку, другую, под закуску пошла третья, а дальше покатилося. Радость, переполнявшая его, требовала того. Радости много было.

Сколько он выпил, не помнил. Вот уже его приятелей в бесчувственном состоянии грузили на извозчиков официанты. Только его крепкий организм смог выдержать до конца. Покачиваясь, пошел он наверх, кое-как одолевая ступеньки, двигаясь без посторонней помощи, от которой отказался.

Проснулся Филипп Парфенович от холодка. Голова не болела, похмельем не страдал, но не мог в точности вспомнить, что случилось после того, как попойка закончилась: кажется, вошел в номер, свет не зажигал, чтобы не разбудить Аурик, покидал одежду и упал на подушку. Только чувствует сырость какую-то.

Филипп Парфенович руку поднес, видит: выпачкана темным. Что-то липкое и сырое под ним. Вскочил он, побежал к окну и шторы отдернул. Ладонь — в чем-то буро-красном. Как и сорочка у ворота. Филипп Парфенович машинально встряхнул ладонь, на подоконник пали бурые капли.

Позвал он Аурик. Цыганка спала тихо, голова на подушке лежит ровно. Филипп Парфенович бросился к кровати, откинул одеяло. Не сразу разобрал, что увидел. Трудно было поверить разуму. Аурик, любовь всей жизни

его, лежала прямехонько. Тело ее, прекрасное и молодое, белело на простынях. Чистое и спокойное, как мрамор. А шейку делила глубокая густо-красная полоса. С нее лужа натекла. Не захотел Филипп Парфенович верить в то, что видели глаза. Зажал он рот, но не заметил, как закричал надрывно и беспомощно.

Что же наделал... Как смог... Как... Своими руками...

Хуже всего, что Филипп Парфенович не мог вспомнить, как, когда и зачем убил любовь всей своей жизни. Последнюю любовь...

20 декабря 1893 года,  
понедельник

• 1 •

Такого подвоха Михаил Аркадьевич Эфенбах не ожидал. Уже шесть лет счастливо служа начальником московской сыскной полиции<sup>1</sup>, он стал москвичом по образу жизни, так сказать. Не сразу, но привык к неспешному распорядку и неторопливым, обильным обедам посреди присутственного дня, которым чиновники отдавались со всем усердием. Свыкся с тем, что в Москве все знакомы. Даже тот, с кем он был не знаком, оказывался или знакомым знакомого, или на худой конец знакомым друзей знакомого. Он перестал удивляться некоторой простоте, принятой в общении и между чиновниками снизу доверху. Не пугался почти родственного дружелюбия, которое на улице проявляли к нему совершенно незнакомые

---

<sup>1</sup> Дорогой мой читатель! Правды ради в примечании должен покаяться. Верное название московского сыска в тот год звучало так: сыскная часть Управления Московской городской полиции. Прости и не суди строго за вольность ради твоего удовольствия. Ведь что за «часть», куда «часть», чего часть? Не понять! А так — сыскная полиция, и все тут. Пусть господа историки зуб не точат. Зуб им еще пригодится! Будет где разойтись.

люди или приказчики в лавках. Научился дышать воздухом, густо насыщенным провинциальной лендой. Больше не усмеялся при обязательных поминаниях древних московских традиций, которым следовали все, кому не лень. И даже принял неписаный закон общения полиции с воровским миром: в Москве давно устоялось такое положение, что полиция благодушно спускала большинство мелких преступлений, совершаемых на Хитровке, Сухаревке и прочих злочных местах, за что воры редко совались в благополучные кварталы и улицы. В общем, полиция и мир воровской соблюдали взаимовыгодный нейтралитет, который висел на тонкой ниточке.

Привычки Эфенбах освоил. Но в душе остался петербуржцем. Что невозможно искоренить. Столица имеет такое свойство, что если человек просто пожил в Петербурге или послужил, до конца дней своих будет петербуржцем. Везде и всегда. А уж в Петербурге Эфенбах отличился по службе, раскрыв несколько громких дел. И даже был лично представлен императору Александру II. Что для людей определенного происхождения было редкой честью.

А потому Михаил Аркадьевич никак не мог отказать «своему» — петербургскому приятелю из Департамента полиции. Приятель мало того что занимал существенную должность, что всегда могло пригодиться, но и просил сущую мелочь — взять к себе на практическое обучение юное дарование. Приятель рекомендовал молодого чиновника полиции как способного, образованного, та-